

Jovanović, Milivoje

**Некоторые проблемы поэтики жанров в поэзии
Хлебникова, его предшественников и его последователей
("прощальные стихи")**

In: *Genologické studie. I.*.. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
1991, pp. 424-434

ISBN 8021001240

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/132290>

Access Date: 22. 02. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

· НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ЖАНРОВ В ПОЭЗИИ ХЛЕБНИКОВА,
ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ("ПРОЩАЛЬНЫЕ СТИХИ")

Milivoje Jovanović (Beograd)

1.

Хлебникова принято считать крупнейшим реформатором, нарушившим "традиционную соотнесенность жанров, вновь камонизованную символистами в начале XX века".¹ Исходя из положения о Хлебникове - "новом зрении", Д. Тынянов провозгласил его единственным русским поэтом-эпиком современности, лирические, "малые вещи" которого суть только "внезапные, "бесконечные", продолженные вдали записки, наблюдения, которые войдут в эпос или сами, или их родственники".² Аналогичную мысль высказал Н. Степанов: "Поэзия Хлебникова в основном тяготеет к эпосу(...). Хлебников обычно не раскрывает своего внутреннего мира, своих переживаний в лирических жанрах. Даже его небольшие стихотворения ходутся фрагментами какого-то незавершенного эпоса. Поэтому и в лирике Хлебникова нередко отсутствует лирический герой. Поэт стремится к охвату событий, эпох, народов, включаемых как бы во вневременное сознание. Лирика Хлебникова чаще всего - это фрагменты, размышления, зарисовки природы, говорящие не столько о личности поэта, сколько о тех картинах и явлениях мира, которые отражаются в его сознании".³ Свой тезис Тынянов обосновывал двумя соображениями: 1. Хлебников создал "новую поэтическую систему", в рамках которой произошло "огромное смещение традиций", "Слово о полку Игореве" оказывалось "более современным, чем Брюсов", а оды Ломоносова и Пушкина, то же "Слово" и хлебниковская "Ночь перед Советами" "не различались" как "традиции", 2. его "поэтическое лицо" ("инфантильное", "детское", "дикарское") не поддавалось давлению биографии поэта.⁴ Н. Степанов следует Тынянову и здесь, ссылаясь попутно на ситуацию в древнегреческой лирике, не знавшей персонажа "себя самого" к приравнивавшей в качестве действующих лиц богов, героев, животных, растений и людей.⁵ На наш взгляд, подобное мнение нуждается в некоторых поправках, связанных с обращенностью Хлебникова к определенным традициям русской философской лирики, а также с эволюцией его поэтического "я", выделившегося из эпического потока в особенности в последний период его творчества, который условно можно назвать

"прощальным".

2.

Категория "прощальных" стихов пока что не выделена в литературоведческих работах и поэтому мало изучена, за исключением стихотворений, написанных по мотиву "памятника". Ее фонд можно восстановить лишь с оглядкой на весь творческий путь отдельных поэтов, поскольку "прощальные" стихи не всегда относятся к самому последнему периоду жизни поэта. В творчестве Пушкина такими стихами следует считать те, которые возникли в ответ на "Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы" и "Пророка", т.е на попытку разобраться в смысле метафоры жизни - "мышьей беготни" и своей поэтической миссии; это - "Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит", ... "Вновь я посетил" и, разумеется, "Я памятник себе возвдвиг пророктврный". У Лермонтова, бесспорно исходившего из знания опыта и судьбы Пушкина, "прощальные" стихи создавались в ответ на "готовые" формулы "Гляжу на будущность с боязнью" и "Думы", а также пушкинскую концепцию поэта-пророка "Не смейся над моей пророческой тоской", "Прощай, лемнитая Россия", "Выхожу один я на дорогу", "Пророк"; Лермонтов, однако, не писал своего "памятника", предложив читателям взамен горестные размышления о судьбе поэта-пророка перед "судом людским" ("пророческая речь", истолкованная как "брань коварная" в стихотворении "Нурнелист, читатель и писатель"; "пророк" - "гордый глупец", уверяющий, что "бог гласит его устами" в "Пророке") и парадоксальную мысль о настоящей жизни лишь после смерти (в Выхожу один я на дорогу). "Прощальный" характер приведенных выше стихотворений Пушкина и Лермонтова во многом был обусловлен их философским поиском "покоя" и "власти" ("свободы") в "Пора, мой друг, пора!" покоя сердце просит" и "Выхожу один я на дорогу", свидетельствующим о зависимости их поэтического субъекта от внешнего мира, от его преследований и его оценки (суда). От оценки современников не удалось ускользнуть даже Некрасову, последние стихотворения которого (1876–1877 гг.) проникнуты не только мотивом "прощания", но и "самооправдания". У поэтов более позднего периода и иной ориентации давнее противостояние постепенно исчезает (в блоковском стихотворении "Пушкинскому Дому" упоминание о "тайной свободе" представляет собой скорее всего дань уважения великому предшественнику и учителю в момент актуализации темы "поэт" и "толпа"), уступая дорогу широким философским обобщениям взаимо-связей человека и космоса, вследствие чего категория "прощальных" стихов либо отходит на задний план, либо трансформируется в более объективное переживание контакта с мирами иными. Так, например, Тютчев в стихотворении "Две силы есть – две роковые силы", идя вслед за Пушкиным и Лермонтовым, отмечает феномен "Суда людского", однако он у него показан как-бы безличным и обобщенным, привязанным к феномену "Смерти"; собственно "прощальных" стихов у Тютчева нет, как яствует, в частности, из стихотворения "От жизни той, что бушевала здесь", в котором выдвинута о б щ а я идея о "призрачном" существовании человека среди природы ("И перед ней мы смутно сознаем Себя самих – лишь грезы природы") и "подвиге бесполезном" человечества перед "всепоглощающей и миротворной бездной": общий характер "последних прозрений" в данном тексте подчеркивается и использованием "мы" в роли героя стихотворения. Не знает указанной категории стихов и Фет, с иных лет еще ведавший тайну перехода "на лоно вечности" – "с улыбкой" ("О нет, не стану звать утра-

ченную радость");⁹ субъективная лирика этого поэта лишена реальных черт сношений с внешним миром, за исключением единичных стихотворений, в которых речь идет о его "защитите" Муз ("Заботливо храня твою свободу,/ Непосвященных я к тебе не звал,/ И рабскому их буйству я в угоду/ Твоих речей не осквернял". — в "Муас").¹⁰ Начиная же с Баратынского, "прощальные" стихи совсем меняются склонами более или менее вольных передвижений поэтического субъекта из этого мира в страну "несрочной весны" ("Запустение") и "созданной им" Леты ("Кизилю Петру Андреевичу Вяземскому"),¹¹ ведущими к утверждению "загробных" склонов "Песен из Уголка" Случевского, а также, в более позднюю эпоху, к таким стихотворениям Заболоцкого, как "Прощание с друзьями".

С другой стороны, "прощальные" стихи, как правило, отсутствуют также в поэзии символистов, наследовавших указанных выше поэтов, однако по принципиально иным причинам. Несмотря на то, что в процессе воссоздания сквозной истории поэтического субъекта Блока и Белого учитывается биографические реалии данных поэтов и таким образом допускается возможность наличия в их творчестве "прощальных" стихов, их по сути нет, ибо герой Блока и Белого даны в аспекте "сораспинания" с внешним миром (Россией) и не отделены от него; этим обстоятельством объясняется не только тяготение этих поэтов-символистов к эпическим полотнам, но и весьма сложная эволюция поэтического "я" Белого в антропософски понимаемое "мы" (во второй части цикла "Стихи о России"). В данном контексте поэзия Есенина есть не что иное, как срывание маски с лица лирического героя его учителей Блока и Белого; в итоге оказалось, что героя возвращена его истинная биография, что в ее рамках вновь стали возможными стихи "прошального" характера, и что эти стихи могли писаться даже в начальный период ("Устал я жить в родном крае"). В отличие от Есенина, "похождения" "мы" которого закончились в первой строфе "Руси советской" ("нас мало уцелело", "я вновь вернулся в край осиротелый"),¹² борьба между лирическим и эпическим (и, следовательно, между "я" и "мы") у Маяковского оставалась актуальной до конца жизни поэта, причем "мы" у него сохранялось даже в итоговых текстах по мотивам "памятника" ("Во весь голос") для обрисовки общественного плана, включая понимание самого "общего памятника", тогда как "я" соотносилось с планом сугубо интимным (посмертный раздел "Неоконченное"), а также с планом поэтической миссии (в "Во весь голос").

На "прощальные" стихи Есенина и Маяковского наложена печать полемичности, вызванная превратностями эпохи; она, эта печать, воскрешала в памяти конфликты поэзии Пушкина и Лермонтова и их судьбы. Вслед за Есениным, "самозашитавшимся" в своих "прощальных" стихах, пошел Гумилев в "Моих читателях", Маяковскому же,

"судившему" эпоху, следовали Мандельштам и Ахматова. В силу его особой биографии, поэзия Мандельштама приобретала почти сплошной "прощальный" характер, вплоть до загадочного стихотворения - - "суда" над эпохой "Да, я лежу в земле, губами шевеля".

У Ахматовой в данном отношении "прощальные" грани выявляются в двух временных разрезах, - к концу периода, в котором закончен "Реквием", и на всем протяжении периода, в котором создавалась "Поэма без героя". В этих двух поэмах Ахматова вершил суд над прошлым и настоящим России, отправляясь при этом от подтекстуальных связей с великими предшественниками Европидом и Шекспиром и с ее современником Булгаковым; наряду с этим поэтесса прибегает также к полемике с соответствующей русской традицией, воплощенной в творчестве Лермонтова, Некрасова и Блока. Особняком в этом ряду стоит Пастернак, "прощальные" стихи которого (стихотворения Юрия Зиваго в знаменитом романе) являются собой глобальную хвалу жизни как таковой, в то время как их лирический герой приравнивается к образам Гамлета - Христа, от имени которых и совершается суд над человеческой историей.

3.

В этом ряду "прощальные" стихи Хлебникова, возникшие в результате его в последний период обострившегося конфликта с миром "вы" (воплощающим "людей места и пространства", которым "непонятны" речи поэта и их "тайственные смыслы"¹³, т.е. носителей идеи всемирного мещанства и начал государственности), занимают особое место. Прежняя будетянская установка на видоизмененного Заратустру и его "оптимистическую" проповедь "чистых законов времени", обладавшую эпическим размахом, в этих текстах постепенно оборачивается воспроизведением пессимистической ситуации лирического героя лермонтовского Пророка, пришедшего в мир под знаменем п р о р о к а пушкинского; вместе с тем хлебниковский вариант вершения суда над современниками, резко отличающийся от аналогичных попыток Маяковского и Пастернака, предполагает также принципиальную полемику с "прощальными" стихами Некрасова.

В данном контексте указанным стихам предшествуют три стихотворения Хлебникова, являющиеся своеобразной оглядкой поэта на его заслуги перед Россией и человечеством (народом, людьми) - - "Я и Россия", "Я видел рюшну пророка" и "Я вышел рюшной один". В "Я и Россия" проведено сопоставление между "свободой", которую Россия дала "тысячам тысяч", и "свободой", которую дарил "народам" сам поэт ("я-государство"), снявший свою рубаху и вывесивший "каждой скважиной" своего тела "ковры и кумачевые ткани" (3,304). К этому хесту крайнего альтруизма в стихотворениях "Я видел рюшну пророка" присоединяется "противо-Разинская" грязь об "очеловечении воли" (3, 305). Идея полной самоотдачи достигает кульминации в последнем тексте из данного ряда, в котором Хлебников варьирует мотив пути и судьбы из лермонтовского стихотворения "Выходу один я на дорогу". В отличие от лирического героя Лермонтова, преодолевшего чувство разобщенности с космосом в мысли о настоящей и недавней альтруистической жизни после смерти, хлебниковский герой, также

"хотевший" друзей и себя, жертвует собой подобно горьковскому Данко ("Торело Хлебникова поле", "И огненное я пытало в темноте"), и из его "я" возникает сплоченное "мы" (истати, не имеющее ничего общего с антропософским "мы" Белого), несущее по-новому (по отношению к пушкинским) понимаемые "закон и честь" (3, 306). Поэт, разумеется, при этом имел в виду собирательный, коллективный характер своих открытых и своих стихов, этим открытиям посвященных, который современники не поняли или не хотели понимать, будучи ограниченными эмпирическими представлениями, чем ситуация Хлебникова четко определялась как обще романтическая и трагическая.

Среди собственно "прощальных" стихов Хлебникова особенно выделяются стихотворения "Одинокий лицедей", "Не чортком масляничным", "Что делать вам", "Русские десять лет меня побивали каменьями", "Еще раз, еще раз" и "сверхповесть" "Зангеи". Эти стихи-предостережения по сути являются итогом разработки противостояния "я" - "вы" ("они") с оглядкой на альтруистическое описание "я" в названном выше "триптихе".

В "Одиноком лицедее" оппозиция "я" - "толпа" рассматривается на мифологическом уровне и в контексте поэтических явлений Ахматовой и Пушкина. "Я" выступает одновременно в ролях Тезея, "разматывающего моток" волшебницы Ахматовой-Аркадии, и лирического субъекта пушкинского "Пророка" (строчка "Как соный труп влячился по пустыне" контаминаирует пушкинское "В пустыне мрачной я влячился" и "Как труп, в пустыне я лежал"),¹⁴ причем горестный вывод относительно злосчастного странничества героя Хлебникова, выявляемый в окончательных строках ("И с ужасом Я понял, что я никем не видим: Что нужно сеять очи, Что должен сеятель идти!" - 3, 307), отсылает как к мифологическим источникам (на этот раз к мифам о Девкалионе и Кадме),¹⁵ так и к некрасовскому положению о "сеятеле знанья",¹⁶ воспринимаемому polemически. С другой стороны, в сюжете этого стихотворения искусно проведена контаминация мотивов "Пророков" Пушкина и Лермонтова в целом. Исходная ситуация пушкинского "восставшего из гроба" и "глаголом хгущего сердца людей"¹⁷ пророка застечена в строках "Нет я из братского гроба / ... / Руку свою подымая Сказать про опасность" (3, 311). Остальная же часть сюжета развивает мотивы Лермонтова (оппозиция "злобных" и "порочных" людей и "нищего", живущего "в пустыне" пророка, уверяющего, что "звезды слушают его" и что "бог гласит его устами").¹⁸ Хлебников тем не менее заканчивает стихотворение не голосом "толпы" (подобно Лермонтову), а афористическим высказыванием поэта: "Я одиноким врачом/ В доме сумасшедших/ Нес свои песни-лекаря" (3, 312), возвышающимся над эмпирическими воззрениями "толпы". Мотив одиночного, непонятного пророке проходит красной нитью и в фрагментах поэмы с полемическим называнием "Что делать вам", в которых поэтическое "я" показано в о и н о м, "пророчествующим учителя и ученика", художником, творчество которого "был обокран", Модертом, окруженным "сотней Сальери", извечным мстителем за гибель Радина в среде людей, "привыкших видеть жизнь под дающими паек углами" и не способных заметить гибельную символику "тройки" ("старого три"), преломленную через гибель поэтических творений ("Вы видели, как сгоревшие страницы рукописи/ Становятся сгоревшими селами?" - 5, 114, 116, 117).

В прозаическом отрывке "Издатели, хelaющие меня обмануть" Хлебников прямо развертывает лермонтовский мотив смерти и поэта, трактуя его полемически: поэт обманут "братьями", которые собираются потом "поднять вой" над его гробом (5, 274). Мотив этот разработан наиболее полно и эффектно в стихотворении "Еще раз, еще раз" и в его варианте "Русские десять лет меня побивали каменьями". Гибель поэта — пророка оборачивается возмездием тем, кто его убил, чем варьируется мысль, венчающая лермонтовскую "Смерть поэта"; суть возмездия также в том, что поэт-пророк неуличтоким. В варианте, исходная ситуация которого снова отсылает к лермонтовскому "Пророку",^{19a} в полемическом разрезе и к Некрасову,²⁰ воспроизведен весь процесс возмездия: избитый каменьями пророк "встает" "как призрак из пены", изливая "прямо звездный ужас" на своих врагов; он — "звезда", которой они не внимали; поэтому их настигает кара, согласно законам "Досок Судьбы" ("звезда" ставит гибельную "тройку" — "двойку бури и кол подводного камня" — врагам — "морякам"); они направляют паруса на подводные камни и "сами летят разбитые всем судном могучим" (5, 109, 110). Вместе с тем поэт предостерегает своих врагов ("вы") от гибельного шага, рекомендуя им "бояться быть злыми" к нему, "неподвижному", но "вечному" свету путеводного языка везды (5, 110). В окончательной версии ситуация "избиения каменьями" снимается за счет усиления "пророческой" интонации обращения ("горе моряку", "горе и вам"), в котором отождествляются судьбы моряков, взявших неверный угол своей ладки к звездам, и врагов поэта ("вы"), "выведших неверный угол сердца ко мне". Помимо этого, взамен отвергнутых библейских "каменьев" в стихотворении "Еще раз, еще раз" более четко реализована антропоморфизация образа "подводных камней", которыми и будет совершаться суд — возмездие на метафорическом уровне ("И камни будут надсмеяться над вами, / Как вы надсмеялись надо мной") — 3, 314). Таким образом Хлебников попутно завершил разработку одного из своих основополагающих символов — символа воля: в стихотворении "Я видел влюблую пророка" "противо-Разки" "волни огловечил" (сделав ее "русалкой") — 3, 305), в "Еще раз, еще раз", по-разински мстя за обиды, он нагнал волну на своих врагов и ее уничтожил их. Вместе с тем им здесь заканчена и история мотива везды. Если у Лермонтова идея разобщенности человека и космоса, человека и человека поверялась знаменитой строчкой "И звезда с звездой говорит"²¹ (вызвавшей, кстати, не менее известный ответ Мандельштама: "И ни одна звезда не говорит"),²² если у Фета уже восстанавливалась желаемая связь с космическим бытием, благодаря которой "разговор со звездами" стал вполне возможным ("А как звезды в ночи залючат, / Я всю ночь им рассказывать рад"),²³ а у символиста Иванова и его предшественников в этом направлении (а также в ломоносовско-дантовском ключе) велись поиски "путеводной" ("коричней") звезды²⁴, то поэт у Хлебникова сам стал "звездой", присоединившись к бессмертному сонму античных героев.

Круг этих "прошальных" раздумий, равно как и всего поэтического творчества Хлебникова, замыкается в "сверхповести" — рекапитуляции "Зангеzi", которую Ю. Тынянов, назвав ее "романтической драмой"²⁴ почему-то счел возможным причислить к "иношеским вещам" поэта. "Сверхповесть" Хлебникова, в которой мир поэта ("я", "он") и мир эмпирических современников ("вы", "они") поставлены лицом к лицу в последний раз, задумана как "объективный" отчет о пути, пройденном поэтом-мыслителем, как синтез его якобы "безумных речей",²⁵ не дошедших, к сожалению, до тех, кому они предназначались. С своего "моста-площадки"²⁶ в горах и с площади го-

рода герой Зангези обращается с проповедью "к людям или лесу", повествуя об "основном законе времени" и "Досках Судьбы", о "звездном языке", о своем назначении и назначении человечества и всего космоса вплоть до богов, "обреченных" к золе; Зангези уверен в том, что его речи "снимают" с его слушателей "оковы слов", что "звездный язык" объединит некогда, может быть скоро" все живое и неживое, что рок можно победить "вечными числами": они "стучатся оттуда/ Призывом на родину, число зовут к числам вернуться" (- 3, 318, 333, 332, 324). В обращениях героя слышны разные интонации, характеризующие хлебниковские "пророчества" в прошлом и настоящем: он и воин, и победитель солиц, и безумствующий певец, "разобранный часы человечества" (3, 359, 358, 343, 355), однако и, вслед за героем Маяковского, "такой же простой и земной", к тому "одинокий" (3, 356, 343). Недаром Зангези называет себя несколько сниженно "бабочкой, залетевшей в комнату человеческой жизни" и бывшейся "устало в окно человека" (3, 324); героя как бы заранее известен эффект его проповеди и его личный удел, поэтому его автобиография: "Я ведь умею шагать/ Вперед и вперед/ По столетьям" (3, 359) отдает уверенность в собственной правоте, несмотря на временное поражение в единоборстве с современниками. Они же, современники, принимают его за "лесного дурака", "дурака" и "божественно врущего" учителя, для которого люди суть лишь 27 "плевательницей для плевков его учения" (3, 321, 332, 322); по их разумению, его проповеди являются не чем иным, как "настоящим сырьем", его песни лишены "дара", Зангези оставляет их равнодушными и они даже требуют "подиечь его" (3, 329, 345). Для плоского, эмпирического ума "толпы" характерно бытовое самоограждение, - им нужны не проповеди победителя над временем и роком, а "что-нибудь земное", "веселенькое" вроде "комарицкой" (3, 342). Наряду с этим они считают себя "мужчинами", не принимавшими "заячьих речей" героя; им и невдомек, что их же замечание: "Смотри, даже заяц выбежал слушать тебя, чешет лапой ухо, косой" (3, 345) для Зангези-Хлебникова было источником единственного утешения, ибо животные понимали того, что люди понимать на захотели. В концовке "сверхповести" Хлебниковым обнагривается известный мотив гибели - воскресения героя; слухи о том, что Зангези "заревался бритвой" из-за уничтожения его рукописей "властными Негодями с большим подбородком/ И шлепавшей и чавкающей парой губ"/ оказались "неумной шуткой", поскольку "Зангези" "жив" (3, 368), - разумеется, в сфере, недоступной обитателям бытовой плоскости. В отличие от "прощальных" сочинений последнего периода, в "Зангези" не получила прямого развития мотив "возвращения". Возможно, что на подобную концепцию возымела действие концепция "вечно возвращающего" Заратустры, а также лермонтовского "Пророка", довольствовавшегося показом противоположных голосов, мировоззрений, судеб одиночки и толпы.

.4.

В творениях Хлебникова категория "прощальных" стихов приобрела законченную, совершенную форму, венчая частную утопию поэта - "звезды", уводящую его от эпической утопии социальной. Подобная формула не имела продолжения в русской поэзии более позднего времени, даже у ближайших последователей Хлебникова - обериотов. Обериуты переняли некоторые очертания хлебни-

ковской утопии (в первую очередь его установку на абсурдные коммуникативные и ассоциативные связи), однако они не отвергли (за исключением Введенского) бытовой почвы, лишь метафоризуя ее; к тому, их поэтический субъект оставался довольно непроясненным, невыделенным из круга персонажей, которым уподоблялся его удел. Так, у Хармса, например, категория "прощальных" стихов, в чистом виде совсем отсутствующая в этом творчестве, просматривается в ряде стихотворений на тему "смерти героя" ("Падение с моста", "Конец героя", "На смерть Казимира Малевича" и др.), причем в последнем тексте из этого ряда "Из дома вышел человек", герой которого подан объективированным (в третьем лице), горестная его судьба (уход из "дома" в "темный лес"),²⁸ хотя и построенная по хлебниковскому образцу из "Я видел юношу пророка" и "Замгези", подлежит обыгрыванию: Замгези не умер, а продолжал жить в иных измерениях, герой Хармса умер окончательно, и его "воскресение" возможно лишь в плане сказочного сюжета, предназначенного для читателей детского возраста.²⁹ Мир "темного леса" – метафоры "смерти" в свою очередь весьма напоминает "ту страну", лишенную "готовых форм", из стихотворения Заболоцкого "Прощание с друзьями";³⁰ вместе с тем и ей противопоставленный круг "наверху оставленного брата", которому "еще не место в тех краях",³¹ четко связанны с миром разных героев Хармса, все еще живущих и ходящих под масками, за которых скрывается лицо озабоченного поэта. По этой причине и творчество Заболоцкого не знает категории "прощальных" стихов (невзирая, например, на то, что в нем известна категория "последней любви"); у автора "Прощание с друзьями", в отличие от его учителя Хлебникова, не было внутренней убежденности в том, что он исполняет особую миссию (исдаром в его "Старой сказке", косвенно отдающей "прошальными" тонами, сказано о "нейской роли" поэта "в этом мире").³² Тем более она, эта категория, не наблюдается в поэтическом творчестве других учеников Хлебникова, в частности, Мартынова, образ "Лукоморья" которого (вместе с его героем – хлебниковским "прохожим") исчез уже в ранний период без всякого "прощания" с миром, в котором водарился поэтический субъект совсем иного, "реалистического" типа.

Единственным исключением в данном отношении представляется поэзия Введенского, попытавшегося не только уточнить обстоятельства и смысл "прошального" жеста героев Хармса,³³ но и описать мир "бессмыслицы", из которого приходится уйти хлебниковоподобным поэтам-мыслителям. Связь Введенского с Хлебниковым разнообраз-

на, в основном сконцентрирована вокруг концепции его смешанных жанров; эти жанры, в которых пародируются "отжившие" установки и идеи, задуманы как неповторимый в русской поэзии полилог о неэмпирическом времени с преднамеренно затуманенными точками зрения действующих лиц и самого автора (скрывающего свое лицо за "ремарками") и замаскированной идеей о невозможности истинной коммуникации в мире разложившегося эпоса. В "прощальных" текстах "Элегия" и "Где, Когда" Введенским предлагается новый по отношению к Хлебникову уровень разговора о времени и пространстве "мира" и "поэта" в "последнюю минуту", в канун итогов, как бы окончательных для всей русской поэзии. Вследствие этого данные стихи (также по хлебниковскому образцу) в высшей степени насыщены реминисценциями (от Пушкина и до Хармса) и автореминисценциями, являясь некоим собирательным отчетом о глобальном времени умирания, включая время апокалиптической "второй смерти" в цикле "Некоторое количество разговоров".

После экспериментов Введенского русской поэзии дальше идти было некуда, ибо поэт-сберают попрощался со всем и всеми от имени всех поэтов, попутно пародируя "прощальные" установки ряда предшественников. Русским поэтам после Введенского остался один только выход, — вернуться к опыту Есенина, чем они и воспользовались (Рубцов). Однако это было лишь повторением известного, свидетельствующее о том, что история "прощальных" стихов в русском поэтическом творчестве исчерпала себя.

Примечания

- 1 Степанов, Н.: Всевмир Хлебников. Жизнь и творчество, Москва 1975, 261.
- 2 Тынянов, В.: О Хлебникове, в: Тынянов, В.: Проблема стихотворного языка. Статьи, Москва 1965, 290.
- 3 Степанов, Н.: Указ. соч., 232.
- 4 Тынянов, В.: Указ. соч., 295, 289, 298-299.
- 5 Степанов, Н.: Указ. соч., 233.
- 6 Лермонтов, М.: Собрание сочинений в четырех томах. Том 1, Москва 1969, 310, 344.
- 7 Тютчев, Ф.: Лирика. 1, Москва 1966, 218.
- 8 Там же, 225.
- 9 Фет, А.: Стихотворения, Ленинград 1956, 16.
- 10 Там же, 221.
- 11 Баратынский, Е.: Стихотворения и поэмы, Петрозаводск 1979, 127, 130.
- 12 Есенин, С.: Собрание сочинений. Том второй, Москва 1961, 168.
- 13 Хлебников, В.: Собрание сочинений. Том 5, Ленинград 1933, 104, 103 (далее по этому изданию с указанием тома и страницы).
- 14 Пушкин, А.: Собрание сочинений в шести томах. Том 1, Москва 1969, 257, 258.
- 15 Имеется в виду бросания через голову Девкалионом и Пиррой "костей праматери" ("камней") для "возвращения" человеческого рода после потопа, а также сеяние поля зубами убитого Кадмом чудовища, из которых выросли вооруженные люди - "спарты". Подробнее об этом в: Ripellino, A.M.: Poesie di Chlébnikov, Torino 1968, 247-248.
- 16 См. стихотворение Некрасова Сеятелям (Некрасов, Н.: Избранные произведения. Том первый, Москва 1966, 511).
- 17 Пушкин, А.: Указ. соч., 258.
- 18 Лермонтов, М.: Указ. соч., 344. - Ср. особенно строку: "За то что напомнил про звезды", а также стихи: "Не раз вы оставляли меня/ И уносили мое платье,/ Когда я переплыval проливы песни/ И хохотали, что я гол")-(3, 311), перекликавшиеся с лермонтовской концовкой: "Смотрите же, дети, на него:/ Как он угрюм, и худ, и бледен!/ Смотрите, как он наг и беден,/ Как презирают все его!" (Там же).
- 19 Ср. у Лермонтова: "В меня все ближние мои/ Бросали бешено каменья" (Лермонтов, М.: Указ. соч., 344) с началом хлебниковского текста: "Русские десять лет меня побивали каменьями" (5, 109).

- 20 Ср. у Некрасова (в "Приговоре"): "Камень в сердце русское бросая,/ Так о нас весь Запад говорит" (Некрасов, Н.: Указ. соч., 514). – Подобно Некрасову, Хлебников был "поэтом Волги", эпическим хиволисцем России; рядом своих эпических поэм Хлебников несомненно обязан автору "Кому на Руси жить хорошо". Тем не менее, "прощальные" стихи Некрасова стали объектом хлебниковского полемического задора, даже пародии. Всем своим поздним творчеством Хлебников отталкивается от некрасовской концепции "самооправдания" ("Я настолько же чуждым народу/ Умираю, как жить начинал" в "Скоро стану добычей тленья"), от смысла его обращений к Музе (противостоящих замыслу пушкинского Пророка), от его оппозиции "я" ("поэт") – "вы" ("читатели"); в данной связи можно сказать, что весь Хлебников являлся полемической отповедью на некрасовское пятистишие: "Спрашивал я у людей,/ В хижины, в природе отчины моей,/ В книгах холодных,/ В стонах народных/ – Тщетно искал я ответа..." (Некрасов, Н.: Указ. соч., 504, 502, 519, 548).
- 21 Лермонтов, М.: Указ. соч., 342.
- 22 Мандельштам, О.: Концерт на вокзале, в: Мандельштам, О.: Стихотворения, Ленинград 1973, 125.
- 23 Фет, А.: Romanzero , в: Фет, А.: Указ. соч., 106.
- 24 Тынянов, Д.: Указ. соч., 288, 291.
- 25 Григорьев, В.: Грамматика ядиостиля. В.Хлебников, Москва 1983, 151.
- 26 Подобный "взгляд с высоты" характерен также для Ахматовой ("Поэма без героя") и Булгакова ("Мастер и Маргарита"), т.е. для художников, вершащих суд над эпохой.
- 27 См. также иронический каламбур: Зангеzi, по их мнению, не "бабочка", а "баба" (3, 324).
- 28 Хармс, Д.: Избранное, Würzburg 1974, 263.
- 29 Там же.
- 30 Заболоцкий, Н.: Стихотворения и поэмы, Москва 1981, 258.
- 31 Там же.
- 32 Там же, 255.
- 33 Для Хармса путь по дороге к смерти, а также "мир иной" нарочно затмены, что подчеркивается наличием соответствующих апостроф в стихотворениях Олейникову ("И где твой смертный столб?") и "На смерть Казимира Малевича" ("Где твой стол?", "Где подруга твоя?" – Хармс, Д.: Указ. соч., 253, 254). Введенский по сути отгадывает эту "загадку" Хармса, рисуя попутно передвижение поэтического субъекта через мир лебития.